

Реч. клуб - 1996 - 29 дек - с. 8

**Кто их пишет,
эти лубочные песенки-
“дебилки” с рифмами типа
“приду — уйду”?**

**Клинические идиоты?
Расчетливые циники,
снимающие пенки
с национального позора
“самой читающей”
страны, где сборники
анекдотов выходят
большими тиражами,
чем Пушкин?**

**Перед встречей Андрей
Никольский честно
предупредил меня, что
я обратился не по адресу.
И все же...**

**Андрей
НИКОЛЬСКИЙ:**

Органичность закрывает все прорехи

— А по-моему, я как раз по адресу. Хочу поговорить с автором шлягеров “Дуся, ну, качни бедром”, “Эта жизнь, живи и грейся” и “Подожди, подожди/Нажимать запотевший курок”. Хотя их-то я готов принять как своеобразные стилизации в ресторанном стиле. С пониманием вы это делаете: писать такое всерьез — будет пошлость, писать смешнее — разрушится стилистика. Но “Милая, родная, /Как люблю тебя/И твои большие/Серые глаза” — это же пошлость несущественная. Как будто другой человек написал.

— Я вам благодарен за то, что вы понимаете: я не сдуру это писал. Существуют такие понятия, как настроение и энергия. Вы можете написать безукоризненные стихи и очень красивую музыку, а песня не будет зажигать, что бы вы ни делали. И жить не будет, хотя специалисты могут оценить ее как прекрасную. А может быть и такой текст — я не думаю, что он великий: “Ах, ручеек, ручеек, /Брала воду на чаек, /Ай на-на, на-на, на-на,” — это практически весь текст. Или: “Ехали цыга-ва-ва-ване...” Но им двести лет, этим песням, и немножко разбиравшимся в поэзии Пушкин их слушал и даже подпевал. Так вот, в данной моей песне про милую, родную главное — это вообще не слова, а “Ай, там, тари-дам”. Если мне не удалось завести публику — все. Мимо кассы. Потому что никаких других задач у этой песни нет. А если удалось, лубочность текста как раз и обеспечивает успех. Начнешь усложнять — уже невозможны станут все эти реплики на подзаповод: “Эй, хоп-хоп, давай-давай”... Вообще в суперпопулярных песнях невесть какие замечательные стихи. И в то же время, например, у Давида Самойлова высочайшая поэзия, но песни на его стихи не могут быть массовыми. Не надо путать поэзию и стихи —

на мой взгляд, это разные вещи. То, что я пишу, — не “слова, не “тексты песен”, а все же стихи. Но это не поэзия.

— Все-таки вы работаете на пэтэушников, согласитесь.

— Да нет! Вам может не нравиться этот жанр, но если вы послушаете таких признанных корифеев, как Утесов, Петр Лещенко...

— У них хоть в рифму.

— Рифма — только часть гармонии, и не самая важная. Я вам рекомендую перечитать Беллу Ахмадулину, моего любимого поэта: у нее через два на третье стихотворение — мимо рифмы. Или послушайте раннего Высоцкого — там в большинстве случаев просто говорить о поэзии не приходится. Но он гений. Вообще художника надо оценивать по его лучшим образцам. А все остальное может быть инструментом, подходом — иногда быстрым, иногда медленным — к тому, что он сам хотел бы после себя оставить. Это только в быстрых заметках на заказ можно кого-то обругать. А по большому счету нужно сначала разобраться, что является поэзией, отделить то, что написано как шутка, гротеск... Возьмите куплетистов — можно смеяться над Белорусским из “Покровских ворот”, а мне нравится то, что делали, например, Шуров и Рыкунин. Я бы вообще ничего из жизни не исключал — все интересно... Да, у меня рифмуется “тебя — глаза”, и я не хочу даже думать про это, потому что там задача была — дать текстовую подпорку настроению. Но то, что поет Иосиф Давыдович Кобзон: “Люстры старинного зала, /Бронза, паркет, зеркала... /Ах, если бы молодость знала, /Ах, если бы старость могла...” — это написал тоже я! И “Я поднимаю свой бокал” — это, может быть, не широкая, но тоже неплохая вещь. А самое главное, я не претендую ни на звание поэта, ни на звание композитора, ни на звание певца. Я хочу про-

сто попеть. Если вы говорите в застолье тост — неужели у того, кто умеет говорить хуже вас, меньше прав на то, чтобы свой тост произнести? Почему ему нельзя, если он говорит от сердца?

— У вас такое присловье — “мимо кассы”. Хочу задать вопрос, который на Западе считается неприличным...

— Да нет, “мимо кассы” — именно присловье, не больше. Песнями я не заработал ни копейки. Я их дарю тем исполнителям, которых уважаю.

— Уже интересно. Я побывал на вашей репетиции, потом в студии — это же большие затраты, а вы говорите, что не берете за песни денег. На что же вы живете?

— Это с музыкой не связано никак. Я закончил академию Плеханова и академию внешней торговли. Отработал пятнадцать лет в системе Внешторга, а когда развалилась монополия внешней торговли, я стал заниматься той же работой на условиях свободного рынка.

— А чем конкретно коммерческая тайна?

— Просто не хочется рассказывать. Это может вызвать большой интерес, чем мои песни.

— Бойтесь, скажут: пришел, выложил деньги себе на “раскрутку”...

— ... пробралась потому, что имеет финансовые возможности... А я чист перед публикой. Блефа, желания завоевать публику каким-то левым путем у меня нет абсолютно. 27 декабря в Театре эстрады у меня будет творческий вечер, где я сам буду много петь. Так вот, я все свои песни написал не под этот концерт, а раньше. Ирина Мирошниченко, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Сергей Захаров, Михаил Шуфутинский — это все люди, которые поют мои песни. Они все принимают участие в моем творческом вечере, за что я очень им bla-

годарен. Должно получиться интересно: совершенно разные песни — эмоционально разные, а не по голосам исполнителей.

— А слова “художник”, “творчество” применительно к себе вы произносите с полной серьезностью?

— Ну мы же сами наполняем слова смыслом. Я, говоря про свое творчество, просто одним словом обозначаю то, что пишу и стихи, и музыку, и стараюсь петь. Великим творцом я себя не считаю. Если бы это было не так, то, имея триста песен, я, наверное, мог бы вылезти пораньше, а не в сорок четыре года. Двадцать пять лет я шел к тому, чтобы сделать этот вечер.

— А если будет провал?

— Не расстроюсь. Я к публике отношусь специфически. Если на стадионе десять тысяч кричат, что это прекрасно, а мне не нравится — я все равно скажу, что мне не нравится. Я люблю русскую классическую оперу, а рок, например, не принимаю совершенно. Но ругать никогда не буду. Мы живем очень короткой жизнью, и я не имею права запрещать людям получать удовольствие. И сам хочу петь то, от чего получаю удовольствие, а не то, что популярно.

— В поэзии вы ориентируетесь, оперу любите, а пишете песни на потребу публике, которая знакома с Мандельштамом по жуткой переделке Аллы Пугачевой, а с Чайковским — по музыкальным заставкам во время прогноза погоды. Вам не кажется, что это этически сомнительная позиция?

— Если бы я только такие вещи писал, то, нескромно говоря, наносил бы ущерб России и нации. Но у меня есть вещи, которые не имеют никакого отношения ни к фокстротикам этим, ни к дворовым песням, ни даже к любовной лирике. Например: “Был лик тих,/Смиренен и грустен,/Почему, сказали, лик стих,/И все стало пус-

то,/Смех давно стих,/Он был такой душный,/В голове злые сны/Забавляют душу./Если пряный закат/Распят,/А рассвет/Расстрелян...” Ну я не хочу вас сейчас напрягать. Короче говоря, я не вынесу такие стихи на публику не потому, что считаю ее глупее себя, а потому, что всему свое время и место. Вы представьте себе человека с абсолютным чувством гармонии — это же застrelиться можно будет. Да каждому человеку, самому серьезному, иногда хочется покричать, скатерть на себя потянуть, на машину сесть и дать винта по канавам. И я ему даю это настроение — “Ай, там, тари-дам”. Это самые важные здесь слова. И еще — то, как скрипач будет работать, и какое состояние у меня будет в этот момент на сцене, как я буду заводить людей... Конечно, такая песня будет в концерте одна. Конечно, будет и лирика. Ира Мирошниченко будет петь очень серьезную песню: “Что ты смотришь в поднебесье,/Протянувши руки ввысь,/Не пошлет Господь известий,/Ты напрасно не молись./Смерть придет, оставив жизни/Неразгаданную ложь,/И себя на горькой тризне/Ты разгадкой не тревожь./Полетит из белой рощи/Перебитый дрожью крик.../Как он выглядит на ощупь/— Этот безвозвратный миг?”

— Вы все время говорите об энергетике...

— Это очень важно! Бывают талантливые певцы, с сильным, поставленным голосом, которым лучше сидеть дома — они не могут докричаться дальше первого ряда. Хотя хлопать им будут, высидят концерт и с огромным уважением оценият все профессиональные качества. А есть люди, у которых получается. Возьмите Розенбаума — я думаю, Александр не обидится — у него не всегда хороший текст. Далеко не всегда. Хотя бывают блестящие находки, повороты мысли — пусть в отношении версификации иногда стихи слабые, неважно. Но! Он излучает энергию. Он захватывает зал. У каждого разный порог — до двадцатого ряда, до двадцатого ряда... В моих редких концертах я это ощущаю на себе. Когда я пел в “России”, а это большой зал, меня встречали не хуже, чем других. А что, у меня вокал есть, что ли? Конечно, у меня нет вокала. Что тогда остается, на чем работать? Мотив подсказывает, что вот здесь нужно дать какую-то мимимику, движение — полдвижения! Бывает, что человек не заканчивает ни одного движения, но настолько точен в музыке, настолько правильная команда у него идет всему телу, что он очень органично смотрится. Органичность закрывает все прорехи.

— И почему?

— Потому что этоозвучено моей душе. Потому что это русское, а для меня русское стоит, как говорится, впереди паровоза. Потому что это русское зачастую преломляется в эмоциях первой эмиграции — а это не сегодняшняя эмиграция с Брайтон-бич. Та эмиграция была элитарная, ей было что сказать, и она была достаточно строгим слушателем. Раз она принимала Петра Лещенко и Вертиńskiego, значит, я не очень ошибился, когда в детстве спинным мозгом чувствовал, что эти песни меня волнуют. У меня много песен на эмигрантскую тематику. Взять же “Люстры старинного зала...” — там есть, по-моему, неплохие строчки, когда лирический герой обращается к Родине: “Прости, что тебя называю любимой,/Прости, что тебе я зову дорогой,/Прости, что твоё повторяю я имя,/Прости, что однажды простился с тобой”. Можно было дать весь дежурный набор: шампанское, сорванные погоны, конь упавший... Но, мне кажется, я привильные нашел слова... Короче, я продолжаю делать то, что мне нравилось всегда. И, думаю, где-то что-то мне удалось донести и поймать. Это меня и подвигает к сорок пять годам выйти на сцену и показать хотя бы десятую часть того, что было сделано.

Насте уже девятнадцать, она учится в академии имени Георгия Валентиновича Плеханова. Вот ею я по поведению и по учебе довolen больше. И еще она, говорят, красивая, хотя мне трудно судить. Дальше по старшинству — моя жена, акушер-гинеколог. Через ден... делает кесарево сечение — шучу, конечно: на самом деле я не знаю, как она там работает. А еще у меня мама и теща... Кот на даче живет потрясающей красоты и замечательного поведения, только мышь не ловит. Спит он с Гришкой всегда — лежат вдвоем на кровати, о чем-то разговаривают. И еще есть собака Дуся, ирландский сеттер. Она уже бабуля. Главная ее забота — как перекусить.

— Сорок пять — возраст так называемого кризиса середины жизни...

— Конечно, сейчас я особенно активно обращаюсь к этим вопросам: что я делаю, зачем? И ответы, как правило, грустные.

— Есть образцы, на которые вы ориентируетесь в работе?

— Я консервативный человек. В пять лет услышал музыку, которая мне понравилась, и уже не менял своих пристрастий. Петра Лещенко я знаю всего наизусть, Александра Вертинского могу петь хоть сейчас. Знаю русский романс, дворовую старомосковскую песню.

— Никогда не слышал...

— “Манька, помни свой поселок,/Забастовки мастеров,/Нелегальщицу светлок/И разъезды казаков...” Или, предположим, “Что жизнь моя?/Прощай, далекая советская Москва” — это двадцать второй год, когда уезжали отсюда, — “Все, что сердцу мило,/Ты все включила в эти грустные слова...” А еще: “Помню, как на масленой в Москве/В былье дни пекли блины./Жирный блин царил на всей земле/И от блинов были пьяны...” Я хорошо это знаю и не изменил своих вкусов. Только отошусь к этому уже не эмоционально, как раньше, когда был ребенком, а стал анализировать: почему, собственно говоря, это мне нравится?

— И почему?

— Потому что этоозвучено моей душе. Потому что это русское, а для меня русское стоит, как говорится, впереди паровоза. Потому что это русское зачастую преломляется в эмоциях первой эмиграции — а это не сегодняшняя эмиграция с Брайтон-бич. Та эмиграция была элитарная, ей было что сказать, и она была достаточно строгим слушателем. Раз она принимала Петра Лещенко и Вертиńskiego, значит, я не очень ошибился, когда в детстве спинным мозгом чувствовал, что эти песни меня волнуют. У меня много песен на эмигрантскую тематику. Взять же “Люстры старинного зала...” — там есть, по-моему, неплохие строчки, когда лирический герой обращается к Родине: “Прости, что тебя называю любимой,/Прости, что тебе я зову дорогой,/Прости, что твоё повторяю я имя,/Прости, что однажды простился с тобой”. Можно было дать весь дежурный набор: шампанское, сорванные погоны, конь упавший... Но, мне кажется, я привильные нашел слова... Короче, я продолжаю делать то, что мне нравилось всегда. И, думаю, где-то что-то мне удалось донести и поймать. Это меня и подвигает к сорок пять годам выйти на сцену и показать хотя бы десятую часть того, что было сделано.

